



## РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР

### О России. Из лекций разных лет

<Ф. М. Достоевский>  
Из лекции 13 февраля 1916 г. в Берлине

...Бывает, что кто-нибудь встречает четырех человек, скажем, поставленных как-либо друг возле друга их кармой. Если четыре человека поставлены друг возле друга, то можно понять, каким образом они приведены кармой в определенное отношение друг к другу, но также и то, каким образом протекает поток кармы в движении мира и каким образом эти люди хотели поставить себя в мире благодаря их карме.

С нынешних точек зрения никогда нельзя будет понять чего-либо, если люди не будут в состоянии видеть такие кармические взаимодействия в мире.

Возьмите четырех братьев — Дмитрия, Ивана, Алешу Карамазова и Смердякова — в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Если вы умеете видеть очами души, вы увидите в этих четырех братьях Карамазовых действительно четыре типа, которые вы сможете понять, только поняв, как они были соединены их кармой. Тогда вы узнаете: поток кармы вносит в мир четырех братьев так, что им приходится стать сыновьями типичного современного негодяя, из самой трясины общества. Эти четверо братьев его сыновья. Они появляются на свет, избрав себе именно эту карму. Но они поставлены также один возле другого, так что видишь, что они отличаются друг от друга. Их можно понять, только зная, что в одном, в Дмитрии Карамазове, перевешивает «Я»; во втором, в Алеше Карамазове, перевешивает астральное тело; у третьего, у Ивана Карамазова, перевешивает эфирное тело; у четвертого, у Смердякова, совершенно перевешивает физическое тело. Свет жизнепонимания падает на четырех братьев, если смотреть

на них с этой точки зрения... Но что в этом понимает Достоевский? Не что иное как то, что этих четырех братьев он выставляет в качестве сыновей типичного спившегося негодяя из современной разлагающейся среды. — Первого, Дмитрия, — как сына наполовину авантюрной, наполовину истеричной особы, которая сойдясь сперва со спившимся стариком Карамазовым, бьет его, а под конец не выдерживает и уходит, оставляя его с сыном, старшим Дмитрием. Все сводится только к наследственности, полученной от спившегося и избиваемого лица, все представлено, я бы сказал, так, что создается впечатление: художник описывает как современный психиатр, взирающий на самые грубые проявления принципа наследственности и не имеющий понятия о духовных сторонах, показывающий нам «наследственный порок», — эту выдумку простаков в современной научной среде. — Далее мы видим двух следующих сыновей — Ивана и Алешу. Они от другой жены, ибо у этих двух сыновей «груз наследственности» должен действовать, разумеется, иначе. Они были от так называемой кликуши Лизаветы, потому что она была истеричкой не наполовину, а вполне и постоянно кликушествовала. Если прежняя избивала пропойцу, то теперь старый пьяница сам бьет кликушу. Четвертый сын, у которого преобладает все, что имеется в физическом теле, это Смердяков, своего рода смесь мудрого, скромного человека и идиота, совершенно слабоумного, но отчасти весьма умного человека. Он тоже сын старого пьяницы, типичного негодяя и немой женщины, бродящей по окрестностям, деревенской дурочки, прозванной Лизаветой Смердящей, изнасилованной старым пьяницей. Она умирает в родах. Конечно, никто не знает, что это его сын. Смердяков остается в доме. И тут между этими лицами разыгрываются все сцены, которые должны разыграться. Дмитрий делается, разумеется, из-за «груза наследственности», человеком, у которого волнуется, бушует и гонит его дальше по жизни совершенно подсознательное «Я», и он бессознательно, в беспамятстве мечется по жизни. Он обрисован так, что имеешь дело, в сущности, не со здоровым, духовным, а с истерическим искусством. Однако это вытекает из естественного развития современной действительности, той действительности, которая не хочет получать влияние и быть оплодотворенной тем, что может прийти от духовного мировоззрения. Все, что не знает толком, чего оно хочет, смутные инстинкты, которые могут одинаково развиваться в настоящую мистику и в крайнюю преступность, — ведь при господстве бессознательного переход от одного к другому легок, — все это как бы дает Достоевский

в Дмитрие Ивановиче Карамазове. Он хочет описать русского, ибо он хочет всегда описывать подлинно русское.

Другой сын, следующий, Иван, — западник. Западниками называют тех, кто ближе знаком с культурой Запада. В то время как Дмитрий ничего не знает о западной культуре и действует целиком из русских инстинктов, Иван побывал в Париже, многое изучил, спорит с людьми, — таким хочет его нам показать Достоевский, — полон идей западного материалистического мировоззрения, но на русский лад. Он спорит об этом с людьми, пришеивая ко всем идеям современной духовной культуры туман инстинктов. Он спорит, следует или не следует быть атеистом, можно ли, или нельзя допустить существование Бога. Затем он приходит к тому, что Бога допустить все-таки можно! Да, Бога я признаю, — он выступает, наконец, за допущение Бога, — но не могу принять мира! Если уж я и признаю Бога, то мир этот, каким он является, каким предстает перед нами, не может быть создан Богом. Я признаю Бога, но не признаю мира! — Так идут эти рассуждения.

Третий, Алеша, рано становится монахом. Это тот, у кого перевешивает астральное тело. Но нам указывается, что и в нем действуют всевозможные инстинкты, также и в мистике, которая у него развивается, и что, в сущности, до того, чтобы стать мистиком, он доходит благодаря тем же инстинктам, благодаря которым его старший брат, но только от другой матери, Дмитрий, является, собственно, натурой с предрасположением к преступлению, — только у него (Алеши) она иначе развита. Склонность к преступлению — это только особое развитие тех же инстинктов, которые вызывают, с другой стороны, молитвенный склад и веру в пронизывающую весь мир божественную любовь, ибо и то и другое происходит из низшего, из низших инстинктов человеческой природы и только по-разному развивается.

Конечно, нельзя ничего возразить против этого, а также против выведения в искусстве подобных фигур, ибо все, что существует в действительности, может стать предметом искусства. Но дело в том, «как», а не в том «что». Против изображения подобных фигур нечего возразить, но они должны быть проникнуты духовным. Благодаря своеобразным отношениям, о которых я часто здесь говорил, особенно в связи с русской культурой, именно в Достоевском выразилось то, во что развитие человечества должно превратиться, если в русской жизни спиритуальность будет царить только благодаря продолжающемуся развитию природных отношений, которые я недавно противопоставлял спириту-

альным отношениям. Ведь Достоевский был с самого начала воплощенным ненавистником немцев и инстинктивно сделал своей задачей не давать вливаться в свою душу ничему из западноевропейской культуры; он хотел в чаду постигать мировые образы, проходившие перед ним, старательно избегал видеть что-либо спиритуальное в волнах физических людей, несомых перед его душой, и вместо того, чтобы постигать эти фигуры из глубины души, выводил их из подоснов своей чисто физической природы, которая у него самого была болезненна. А затем это воздействовало на людей, которые забывали о возможности подъема к духу. Это действовало на людей, ибо природа того их, я бы сказал, болезненного кипения и клокотания, которое происходит в их внутренних частях, была еще в состоянии преобразиться в искусство при исключении всего духовного. Это действовало. Иначе бы, конечно, простое описание было лишь описанием, безвкусным и натянутым. А происходя из подсознания, действующего болезненно, истерически, оно становится интересным, даже во многих отношениях интересным, особенно же благодаря той парадоксальности, которая получается, когда без единой искры спиритуальной жизни, я бы сказал, душой (*mit Gemüt*) предаются одному физическому бытию.

Но в «Братьев Карамазовых» введен примечательный эпизод с Великим инквизитом, изображенным так, что перед ним предстает перевоплотившийся Христос, так что Великому инквизитору, — а дело представлено так, что эту новеллу написал Иван Карамазов и она вводится в «Братьев Карамазовых», — этому настоящему представителю правоверного христианства своего времени, ибо он ведаёт, что действует и живет в христианстве его времени, встречается перевоплощенный Христос. Представьте себе настоящего представителя христианства, настоящего мужа правоверия стоящим перед перевоплощенным Христом. Что же еще может сделать он, Великий инквизитор, представляющий «правильное» христианство, как не велеть заключить в тюрьму перевоплощенного Христа! Это он делает во-первых. Затем он должен произвести следствие, он должен Его допросить. Оказывается, что Великий инквизитор, который представляет собой правильную религию и знает, что надобно христианству в наше время, понимает, что это вернулся Христос. И он говорит: да, ты, пожалуй, Христос, — я могу изложить это только приблизительно, — но ты теперь не должен вмешиваться в дела христианства, которые представляем мы, ты теперь в нем ничего не понимаешь. То, что ты совершил, — дало ли оно людям что-либо, что

сделало бы их счастливыми? Нам пришлось создавать нечто правильное из того, что ты так односторонне, так непрактично принес людям. Если бы только среди людей распространилось твое христианство, то люди не нашли бы в нем того блага, которое принесли им мы. Ибо когда людям действительно хотят принести благо, необходимо учение, которое действует на них. Ты думал, что учение тоже должно быть истинно. Но такими вещами от людей ничего не добьешься. Дело в том, чтобы люди веровали в учение, но чтобы оно давалось им так, что они были вынуждены в него веровать. Мы учредили авторитет.

Да, не оставалось ничего иного, как предать перевоплощенного Христа инквизиции. Ибо в христианстве, представляемом Великим инквизителем, Христос, — если бы ему пришлось злополучным образом вновь воплотиться, — не нужен, не правда ли? Это грандиозная идея, еще более грандиозно выраженная. Но она помещена в произведение, являющееся историческим воспроизведением действительности, и при этом не выступает ничего из тех великих импульсов, которые проходят через исторические события, и совсем ничего не представлено в образах у Достоевского от какой-либо спиритуальности, а выступает только внешняя видимость перевоплощенного Христа, которого раздавливает Великий инквизитор.

### Из лекции 26 января 1915 г. в Берлине

...Я, конечно, не хочу умалять Достоевского, однако то, что он нам преподносит, есть — при всем его величии, — совершенно нервное, дерганое искусство. Такое нервное искусство появилось бы, если бы поток материализма, — а искусство Достоевского, хоть это и «психология», материалистично, — продолжал течь дальше.

### Из статьи «Читатель и критик»

...В сущности, характерная черта всей нашей духовной жизни, отражающаяся также в том, что мы предпочитаем читать, заключается в том, что многие наши современники гораздо больше, нежели то было в каком-либо ином поколении, живут нервами... Что именно заключено в книге, имеет меньше значения, нежели возбуждение, в которое впадают благодаря всяким стилистическим ароматам, не имеющим отношения к сути дела... Ницше читают не для того, чтобы за ним последовать на высо-

ты его идей, но чтобы прийти в возбужденное состояние от возбуждающих приемов его стиля. Я также думаю, что Достоевский своей славой обязан не глубокой психологии своих героев, а тем «таинственностям», которые начинают действовать еще до того, как достигнут мозга. Две вещи должен сегодня иметь писатель. Если он хочет иметь большое влияние — он должен усыплять ум наркотическими средствами и возбуждать тело всякими раздражителями...

**<Л. Н. Толстой>**

**Из лекции 27 сентября 1905 г. в Берлине**

<...> Все западные нации предаются деятельности, развивающей страсти. С Востока должен прийти импульс, приводящий их в состояние покоя. Предвестием этого является уже книга Толстого «О неделании»<sup>1</sup>. В деятельности Запада мы встречаем много хаоса. Он все возрастает. Спиритуальность Востока должна внести центр в хаос Запада. То, что долгое время практикуется как карма, переходит в мудрость. Мудрость — дочь кармы. Вся карма находит свое выражение в мудрости. Мудрец, достигший определенной ступени, называется Солнечным героем, потому что его внутреннее ритмизировано. Его жизнь — отражение Солнца, ритмически совершающего обход неба.

**Из лекции 30 сентября 1905 г. в Берлине**

...Человек должен учиться чему-то большему, чем говорение. Он должен соединять с говорением другую силу, которую мы находим в сочинениях Толстого. При этом дело не столько в том, что он говорит, сколько в том, что позади того, что он говорит, стоит элементарная сила, имеющая нечто от Буддхи-Манаса<sup>2</sup>, который должен войти в нашу культуру. Сочинения Толстого действуют столь сильно потому, что в сознательном противопоставлении западноевропейской культуре содержат нечто новое, элементарное. Своего рода варварство, которое еще заключено в нем, будет позже изглажено. Толстой — это просто совсем маленькое орудие некоторой более высокой духовной силы <...>.

**Из лекции 24 июня 1908 г. в Нюрнберге**

...Вы можете объективно сравнивать то, что достигнуто в области науки, философии на европейском Западе, с тем, что воз-

никает на Востоке, скажем, у Толстого. Не требуется быть последователем Толстого, но одно истинно: в такой книге, как книга Толстого «О жизни»<sup>3</sup>, вы можете прочесть одну страницу, и если вы умеете читать, сравните это с целыми библиотеками в Западной Европе. И тогда вы можете сказать себе следующее: в Западной Европе духовную культуру творят посредством рассудка, собирают из деталей какие-нибудь вещи, которые должны сделать мир понятным. И в этом отношении западноевропейская культура достигла такого, что ни одна эпоха этого уже не превзойдет. Однако то, что могут сказать тридцать томов таких западноевропейских библиотек, вы иногда можете получить сжатым в десять строк, если вы понимаете такую книгу, как «О жизни» Толстого. В ней говорится с примитивной силой, но там несколько строк обладают ударной силой, равной тому, что на Западе собирается из деталей. Тут надо уметь судить о том, что исходит из глубины духа, что имеет спиритуальные подосновы, а что нет. Так же, как перезрелые культуры содержат нечто усыхающее, так восходящие культуры содержат в себе свежую жизнь и новую ударную силу. Ведь Толстой — это преждевременный цветок такой культуры, появившийся намного раньше, нежели было возможно развиться уже теперь. Поэтому он поражен всеми ошибками несвоевременного рождения. Все, что он высказывает в гротескном изображении некоторых западноевропейских вещей, что необоснованно, все, что он высказывает в глупых суждениях, показывает только, что великие явления имеют недостатки своих добродетелей, что великая разумность обладает глупостью своей мудрости.

Все это приводится лишь как симптом будущего, когда соединятся спиритуальность Востока и интеллектуальность Запада. Из этого соединения выйдет эпоха Филадельфии<sup>4</sup>. В этом браке найдут себе место все, кто принимает в себя Импульс Христа Иисуса. Они составят великое братство, которое переживет великую войну, будет ненавидимо, претерпит всевозможные преследования, но даст основу доброй расы.

### Из лекции 20 июня 1916 г. в Берлине

<...> В лице Толстого выступил человек, в сущности, стремившийся отвлечь всех людей от внешней жизни, целиком обратить их к внутренней, — в первый период нашего антропософского движения я говорил о Толстом, — он хотел полностью обратиться к тому, что происходит только внутри человека.

То есть, Толстой не видел дух в его внешних проявлениях. Это была односторонность, особенно характерно высказывавшаяся передо мной, когда я, — это была одна из самых первых лекций тех самых первых лет, когда я здесь читал, — говорил о Толстом. Еще тогда эта лекция была показана Толстому одной из дружественных сторон. Толстой понял первые две трети, но последнюю треть — нет, потому что там шла речь о реинкарнации и карме; этого он не понял. — Он представлял собой односторонность, полное погашение внешней жизни. Бесконечную скорбь ощущаешь от того, что он представляет собой такую односторонность! Стоит подумать о том чудовищном контрасте, какой существует между толстовскими воззрениями, которыми охвачена большая часть русской интеллигенции, и тем, что ныне докатывается отсюда в эти дни. О, это один из самых страшных контрастов, какие только можно себе представить. Это односторонность.

#### Из лекции 8 ноября 1920 г. в Штутгарте

...Подобно тому, как в Кили<sup>5</sup> с его мотором мы имеем, я бы сказал, еще совсем грубого, приблизительного механистического предшественника будущей культуры Запада, так в Толстом мы имеем выражение духовного одряхления Востока (*des Ostens*). Мы видим, как в Толстом до некоторой степени концентрировано выступает то, что некогда было великим и что теперь находится в полном упадке, что представляет интересный феномен, но для нас не имеет ни малейшего значения в современном смысле. Как многое было погашено событиями, начавшимися в 1914 году, так погашено и то, что в Толстом было последней вспышкой восточной дряхлости. О Толстом до войны еще можно было говорить как о чем-то современном. С войной это стало прошлым. Это не имеет никакого значения для современности. Это совершенно устарелое — говорить сегодня о Толстом как о чем-то имеющем значение для современности. И надо остерегаться всякого рода засматривания в сторону Востока, старого Востока и всего того, что в своего рода одряхлении в последний раз сконцентрировалось в таком человеке, как Толстой. Мы должны всецело стоять на почве той миссии, которая является миссией современности.

#### Из статьи «Граф Лев Толстой. “Что такое искусство?”»

...Русский романист с тех пор, как вступил на путь моральной проповеди, потерял симпатии значительной части своих



прежних почитателей. Содержание его морального учения во все не находится на высоте его художественных произведений. Чувствительная мораль, опирающаяся на отвлеченную человеческую любовь и сострадание и нацеленная на преодоление эгоизма — вот его содержание. Разбавленное христианство — наилучшее выражение, которое этому можно найти...

